

# КАРИН БОЙЕ

---

*КАЛЛОКАИН*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ  
МОСКВА*

УДК 821.113.6-312.9  
ББК 84(4Шве)-44  
Б77

Серия «Эксклюзивная классика»  
Серийное оформление *А. Фереза, Е. Ферез*  
Дизайн обложки *В. Воронина*  
Перевод со шведского *А. Лавруши*

**Бойе, Карин.**  
Б77 Каллокаин : [роман] / Карин Бойе ; [перевод с шведского А. Лавруши]. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 224 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-161080-7

В Мировом Государстве, в Химиогороде № 4, где для осуществления тотального контроля за людьми ведется постоянное наблюдение и прослушка, а доносы являются долгом каждого порядочного бойца, живет талантливый химик Лео Калль. Он создает сыворотку правды под названием «каллокаин». Открытием заинтересовывается амбициозный шеф полиции Каррек, ведь благодаря препарату можно будет узнать преступные тайны и замыслы жителей Государства. Бойцу Каллю, истинному патриоту, предстоит многое узнать и об окружающих людях, и о самом себе...

УДК 821.113.6-312.9  
ББК 84(4Шве)-44

ISBN 978-5-17-161080-7

© Перевод. А. Лавруша, 2023  
© ООО «Издательство АСТ», 2024

## Глава первая

Книга, которую я начинаю писать, покажется бессмысленной многим — если рискнуть предположить, что «многие» ее вообще прочтут — поскольку я, хоть и взялся за этот труд исключительно по собственной воле и без чьего-либо приказа, цель свою пока различаю неясно. Я хочу и должен — и ничего более. Требование определить цель и составить план для всего, что ты делаешь и говоришь, звучит все ультимативнее, предполагая, что никто ни слова не должен произносить наобум — и только автор этой книги вынужден избрать иной путь, выйдя на простор бесцельного. Ибо, несмотря на то, что годы (думаю, их уже больше двадцати), проведенные мною здесь в качестве заключенного и химика, были достаточно заполнены работой и не оставляли досуга, есть нечто, не позволяющее мне удовлетвориться этим, — нечто, генерирующее и контролирующее иную мою внутреннюю работу, контролировать которую сам я не способен, но в которой тем не менее заинтересован глубоко и почти болезненно. Эта работа завершится, как только я закончу книгу. Таким образом, осознавая степень бессмысленно-

сти моих писаний для всех, кто мыслит рационально и практически, я все равно продолжаю писать.

Возможно, раньше я бы на это не решился. Возможно, легкомысленным меня сделала именно тюрьма. Условия жизни у меня сейчас почти не отличаются от того, как я жил, будучи свободным человеком. Пища чуть хуже — я привык. Нары жестче, чем кровать в родном Химиогороде № 4 — я привык. Я реже выхожу на улицу — я привык и к этому. Тяжелее всего далась разлука с женой и детьми, особенно учитывая, что я ничего не знал (и по-прежнему не знаю) об их судьбе; именно из-за этого первые годы моего заточения были наполнены отчаянием и страхом. Но постепенно я успокоился, а существование даже начало мне нравиться. У меня нет поводов для тревог. Нет подчиненных и начальников — только охранники, которые почти не вмешиваются в мою работу, следя лишь за тем, чтобы я соблюдал предписанные правила. Нет покровителей и конкурентов. Ученые, на встречи с которыми меня иногда приводят, чтобы познакомить с новинками хронологии химии, вежливы и признают во мне профессионала, пусть и с долей снисхождения к моей национальности. Я знаю, что ни у кого нет причин мне завидовать. То есть с некоторого момента я почувствовал себя даже более свободным, чем на свободе. Однако по мере обретения покоя началась эта странная обработка прошлого, и она явно не закончится, пока я не допишу все свои воспоминания об одном весьма событийном периоде моей жизни. Я ученый, поэтому писать мне разре-

шено, а первичный контроль осуществляется только при сдаче готового исследования. Поэтому я и позволяю себе это единственное удовольствие, понимая, что могу лишиться и его.

Описываемые события начинаются, когда мне было около сорока. Кстати, вообразить собственную жизнь в виде картины — это лучший способ представиться. Мало что способно так же подробно рассказать о человеке, как картина жизни: что она для него — дорога, линия фронта, растущее дерево или морской прибой? Для меня это лестница, по которой, как считает пай-мальчик-отличник, нужно изо всех сил бежать вверх от пролета к пролету, не переводя дух и отрываясь от наступающих на пятки соперников. Впрочем, соперников у меня почти не было. Честолюбие большинства коллег по лаборатории касалось только военного дела, а к дневной работе они относились как к скучной, но необходимой паузе перед вечерними военными учениями. Я же, будучи отнюдь не плохим бойцом, вряд ли признался бы кому-либо из них, что химия интересует меня гораздо больше военной службы. По своей лестнице я в любом случае перемещался вверх. И никогда не задумывался ни о том, сколько ступенек осталось позади, ни о блаженстве, которое ждет меня наверху. Возможно, я смутно представлял себе жизнь в виде обычного городского дома, в котором ты, появившись из недр земли, в финале оказываешься на открытой крыше, где тебя ждет свежий вечерний воздух и солнечный свет. Однако, чему именно соответствуют чердак и свет примени-

тельно к моей жизненной стезе, я не представлял. Но преодоление очередного пролета непременно отмечалось коротким официальным извещением высшей инстанции: экзамен сдан, тест пройден, мне предоставлено более важное поле деятельности. Подобных финишных и стартовых точек у меня скопилось достаточно много, впрочем, не настолько, чтобы блекло значение новых. Поэтому я и почувствовал жар в крови, узнав из краткого телефонного разговора, что завтра мне назначат куратора и я смогу начать экспериментировать с человеческим материалом. Иными словами, мое самое крупное на тот момент открытие завтра будет подвергнуто главному испытанию.

Я пришел в такое возбуждение, что в оставшиеся десять минут рабочего времени никак не мог приступить к какому-либо новому делу. Вместо этого я пошел на хитрость — кажется, впервые в жизни — и начал заблаговременно, медленно и осторожно убирать аппараты, искоса посматривая в обе стороны через стеклянные стены, чтобы удостовериться, что за мной не наблюдают. Как только раздался сигнал окончания смены, я спешно устремился по длинным коридорам лаборатории к выходу, оказавшись чуть ли не первым в потоке. Быстро принял душ, переделся из униформы для работы в униформу для досуга, запрыгнул в лифт-патерностер и несколько мгновений спустя уже стоял на улице. Нам выделили квартиру в районе моей работы, что обеспечивало наземной лицензией, и я всегда наслаждался возможностью прогуляться на свежем воздухе.

Когда я проходил мимо метро, меня осенило, что можно подождать Линду. Я вышел рано, и она наверняка еще не успела вернуться домой со своего пищевого комбината, находившегося примерно в двадцати минутах езды на метро. Подъехал поезд, хлынувший из-под земли людской поток сначала столпился у турникета, где проверялись наземные лицензии, а потом растворился на ближайших улицах. Поверх крыш с опустевшими террасами, поверх рулонов брезента цвета серых скал и луговой зелени, с помощью которых город за десять минут можно было сделать невидимым с неба, я рассматривал кишашую толпу возвращающихся домой бойцов в униформе для досуга и внезапно подумал, что всех их, возможно, преследует мечта, похожая на мою, — мечта о пути наверх.

Мысль не отпускала. Я знал, что раньше, в цивилизованную эпоху, усердно работать людей заставляла надежда на более просторную квартиру, вкусную еду и красивую одежду. Сейчас все это никому не нужно. Квартиры стандартные: однокомнатные для одиноких, двухкомнатные для семейных — всем бойцам хватает с лихвой, и самым ничтожным, и самым заслуженным. В придомовых кухнях еда готовится и для генералов, и для рядовых. Стандартная униформа — одна для работы, вторая для отдыха, плюс еще одна для военно-полицейской службы — одинакова для всех, для мужчин и женщин, для высоких и низких, только чины обозначались по-разному. Что, впрочем, никак не отражалось на привлекательности униформы. Желанным в высо-

кой начальственной должности было исключительно то, что она символизировала. «На самом деле любой солдат Мирового Государства настолько высокодуховен, — радостно думал я, — что в его представлении высшая жизненная ценность выражается в виде трех черных петлиц на рукаве. Три черные петлицы служат залогом самоуважения и уважения со стороны других». Материальных наслаждений, разумеется, можно получить достаточно и даже ими пресытиться — именно поэтому я и подозреваю, что бывшие двенадцатикомнатные квартиры капиталистов тоже были всего лишь символом — однако пресытиться тем зыбким и ускользящим, что скрыто за петлицами, невозможно. Нет человека, который не стремился бы получить больше уважения и самоуважения, чем уже снискал. Именно это — самое одухотворенное, неосязаемое и недостижимое — и есть основа, на которой покоится наш установленный на века общественный порядок.

Я продолжал стоять в раздумьях у метро и, словно во сне, наблюдать, как вдоль квартальной стены, увенчанной колючей проволокой, вперед-назад перемещается охранник. Проехало четыре поезда, четыре раза на свет выплескивалась толпа, пока через турникет наконец не прошла Линда. Я поспешил к ней, и дальше мы пошли вместе.

Мы, разумеется, не разговаривали, поскольку учения воздушного флота делали любые разговоры на улице невозможными, будь то днем или ночью. Но она заметила радостное выражение у меня на лице и ободряюще кивнула, не теряя своей привыч-



ной серьезности. Внутри многоквартирного дома наступила относительная тишина — грохот метро все еще сотрясал стены, но уже позволял говорить беспрепятственно — но, поднимаясь в лифте к себе на этаж, мы все равно предусмотрительно молчали. Если бы нас застали за разговором в лифте, то со всей очевидностью заподозрили бы в обсуждении темы, которую мы хотим скрыть от детей и прислуги. Такое периодически случалось, когда враги государства и прочие предатели пытались использовать лифт для конспиративных встреч; место было подходящим, ведь ни око, ни ухо полиции нельзя вмонтировать в кабину по техническим причинам, а у вахтера обычно есть дела поважнее, нежели бегать по лестницам и подслушивать. Таким образом, мы соблюдали осторожность и заговорили только, когда оказались в семейной комнате, где дежурившая на этой неделе прислуга уже приготовила ужин и ждала нас вместе с детьми, которых она забрала с детского этажа нашего дома. Девушка производила впечатление порядочной и милой, так что наше теплое приветствие было обусловлено не только пониманием того, что она, как всякая прислуга, в конце недели обязана предоставить отчет о семье — по сведениям, во многих семьях эта реформа существенно улучшила отношения. За нашим столом в тот день царил атмосфера особого уюта и веселья, поскольку к нам присоединился Оссу, наш старший сын. Он приехал из детского лагеря, где по расписанию значился семейный вечер.

— У меня есть хорошая новость, — сказал я Линде, пока мы ели картофельный суп. — Мой эксперимент продвигается так успешно, что завтра я смогу начать работу с человеческим материалом под надзором куратора.

— Как думаешь, кто это будет? — спросила Линда.

Внешне все наверняка осталось незаметным, но внутренне я содрогнулся от ее слов. Возможно, она спросила без задней мысли. Жена поинтересовалась, кто будет куратором мужа, — что может быть естественнее?! От придирчивости или уступчивости куратора зависит продолжительность эксперимента. А еще случается, что честолюбивые кураторы присваивают открытие себе, и возможности застраховаться от подобного относительно невелики. В том, что близкий человек хочет узнать, кто будет куратором, нет ничего странного.

Но я уловил в ее голосе подтекст. Мой непосредственный начальник и возможный будущий куратор — Эдо Риссен. Бывший сотрудник пищевого комбината, на котором работает Линда. Я знал, что в прошлом они как-то пересекались, и по ряду косвенных признаков понял, что некоторое впечатление он на мою жену произвел.

От ее вопроса проснулась и вырвалась на волю моя ревность. Насколько близки в действительности были ее отношения с Риссеном? Комбинат огромный, и двое могут легко выпасть из поля зрения там, где обзор сквозь стеклянные стены затрудняют мешки и контейнеры, а других сотрудников

нет рядом... Линда периодически работает в ночную смену. В ту же ночь мог дежурить Риссен. Ничего нельзя исключить, в том числе худшее: она по-прежнему любит его, а не меня.

В те времена я редко задумывался о себе, о том, что думаю и чувствую, равно как и о том, что думают и чувствуют другие, — коль скоро это не имело для меня прямого практического значения. И только позже, в одиночестве изоляции, мгновения начали разворачиваться назад, превращаясь в загадки и вынуждая меня формулировать вопросы и искать ответы, снова и снова. Теперь, спустя годы, знаю, что когда я жаждал обрести «уверенность» в вопросе Линды и Риссена, на самом деле мне не нужна была уверенность в том, что между ними ничего нет. Мне нужна была уверенность в том, что ее тянет прочь от меня. Уверенность, которая положила бы конец моему браку.

Но в то время я бы с презрением отверг подобную мысль. Я бы сказал, что Линда играет слишком важную роль в моей жизни. И это было бы правдой. *Этого* не изменили ни размышления, ни переосмысления. По значимости Линда вполне могла конкурировать с моей карьерой. Против моей воли, неким непостижимым образом она привязала меня к себе.

О любви иногда говорят как об устаревшем романтическом понятии, но, боюсь, она все-таки существует и изначально содержит в себе неопишимо мучительный элемент. Мужчину влечет к женщине, женщину влечет к мужчине, и каждый шаг к сбли-

жению заставляет обоих терять частицу себя; серия проигрышей там, где был расчет на победу. Уже в первом браке — бездетном и, как следствие, бессмысленном — я почувствовал этот привкус. Линда же нарастила его до кошмара. В начале нашего брака меня действительно преследовал кошмар, хотя тогда я не связывал его с Линдой: я стою в крошечном мраке, освещенный прожектором, и чувствую, как из тьмы на меня смотрит Глаз, я извиваюсь, как червь, чтобы уйти от этого взгляда, и мне, как псу, стыдно потому, что одет я в какое-то убогое тряпье... И только много позже я понял, что это была картина моего отношения к Линде, я ощущал себя пугающе прозрачным, хотя делал все возможное, чтобы увернуться и защититься, а она по-прежнему оставалась загадкой, удивительной, сложной, почти сверхчеловеческой, но бесконечно волнующей и поэтому обладающей ненавистным преимуществом. Всякий раз, когда ее губы смыкались и натягивались в тонкую красную линию — о, нет, не в улыбку, презрительную или радостную, здесь подходит именно слово «натяжение», так натягивается тетива лука, а широко раскрытые глаза оставались неподвижными — всякий раз я испытывал приступ тревоги, а Линда связывала меня все крепче и влекла к себе все немилосердней, хоть я и догадывался, что она никогда мне не откроется. Полагаю, говорить о «любви» уместно там, где посреди безысходности люди держатся друг за друга, как будто чудо вопреки всему произойдет — тогда мучения обретают своего рода самостоятельную ценность, под-

тверждая, что у двоих, по крайней мере, есть общее: ожидание того, чего нет.

Мы видели, что многие семьи вокруг распадаются, как только дети поступают в детский лагерь, — родители разводятся, чтобы завести новые отношения и новых детей. Оссу, нашему старшему, было восемь, то есть в детском лагере он успел провести год. Младшей, четырехлетней Лайле, оставалось три года дома. А потом? Потом мы тоже расстанемся и создадим новые семьи, инфантильно полагая, что рядом с другим человеком прежнее ожидание станет менее безнадежным? Здравый смысл твердил мне, что это жалкая иллюзия. Но единственная крошечная и неразумная надежда шептала: нет, нет — причина твоей неудачи с Линдой только в том, что ей нужен Риссен! Она принадлежит Риссену, а не тебе! Удостоверься, что в ее мыслях не ты, а Риссен — и все объяснится, а у тебя появится шанс встретить новую любовь, в которой будет смысл!

Вот так странно все переплелось в мыслях от заданного Линдой простого вопроса.

— Возможно, Риссен, — ответил я, жадно вслушиваясь в последовавшее молчание.

— Вопрос о сути эксперимента будет некорректным? — обратилась ко мне прислуга.

Право спросить у нее, разумеется, было, она, собственно, и находилась тут, чтобы следить за происходящим в нашей семье. Но я не мог определить, есть ли здесь нечто, что можно исказить и обратить против меня, равно как и то, навредит ли Госу-

дарству преждевременно распространенный слух о моем изобретении.

— Я надеюсь, что это принесет пользу Государству, — ответил я. — Речь о средстве, которое заставляет любого человека открыть свои тайны и рассказать все, о чем он раньше умалчивал из стыда или страха. Боец, вы родились в этом городе?

Иногда в химиогородах можно встретить людей, привезенных из других регионов в период депопуляции и не получивших общего химического образования, а лишь слегка поднахватавшихся в более взрослом возрасте.

— Нет, — ответила она, покраснев, — я не отсюда. — Более детальные расспросы о происхождении были строжайше запрещены, ибо могли использоваться шпионскими службами. Именно поэтому она и покраснела.

— В таком случае вдаваться в подробности химического состава или производственного процесса я не буду, — произнес я. — Впрочем, я в любом случае этого не сделал бы, потому что никто и ни при каких обстоятельствах не должен получить это вещество в собственные руки. Но вы, вероятно, слышали об алкоголе, который раньше использовался в качестве опьяняющего средства, и об особенностях его воздействия?

— Да, — кивнула она, — мне известно, что употребление алкоголя разрушало семьи, наносило вред здоровью, а в тяжелых случаях вызывало конвульсии во всем теле и галлюцинации в виде белых чаек, куриц и прочего.

Узнав абзац из вводного раздела учебника, я улыбнулся. Общее образование она явно получала не в химиогороде.

— Совершенно верно, — подтвердил я. — В тяжелых случаях. Но прежде чем доходило до такого, пьяные часто говорили лишнее, выбалтывали секреты и совершали безрассудные поступки, поскольку у них купировалась способность испытывать стыд и страх. Ровно такое же действие будет иметь и мое средство — я так полагаю, поскольку испытания еще не завершены. Отличие в том, что оно не проглатывается, а вводится напрямую в кровь с помощью инъекции и имеет принципиально другой состав. Упомянутые вами побочные действия у него отсутствуют — по крайней мере, необходимости в таких сильных дозах нет. Подопытный не чувствует ничего, кроме легкой головной боли. Кроме того, отсутствует и другой эффект алкоголя — человек не забывает то, что сказал. Представляете, какое это важное изобретение? Ни один преступник не сможет больше скрыть правду. А самые потаенные мысли отныне принадлежат не нам — как мы долгое время считали, и считали ошибочно.

— Ошибочно?

— Разумеется, да. Из мыслей и чувств рождаются слова и поступки. Разве могут мысли и чувства оставаться личным делом индивида? Разве любой боец не принадлежит Государству целиком и полностью? А раз так, то кому, как не Государству должны принадлежать все его мысли и чувства? Просто до недавнего времени отсутствовала воз-